

...Тяжелее всего было зимой, в морозы. Бетонные стены покрывались инеем, переливавшимся при свете мутной электрической лампочки, ныла, несуществующая уже почти двенадцать лет нога.

В такие моменты он натягивал на себя всё тряпье, что у него было, ложился на грязный, в жёлтых разводах матрац, накрывался дырявым одеялом и, молча, наблюдал за клубами белого пара, вырывающимися изо рта.

Эти стены давили на него, особенно поначалу, когда пьяный он бросал им обвинения односложным матом... Но они понимали и всегда угрюмо, виновато молчали. Постепенно он свыкся с ними и часто, сам того не замечая, отдыхал на мысли о возвращении в свой подвал и о вечере в полной тишине и изоляции.

В углу, на ящике, стояла начатая бутылка водки. Рядом с ней полбуханки чёрствого хлеба. На сегодня ему должно было хватить.

Он не выходил отсюда уже больше двух суток, прячась от холода и греясь одной лишь водкой. Человек без прошлого и будущего – последним и, пожалуй, единственным доказательством его существования был он сам.

Все вокруг неуловимо менялось с каждым днём. В глубине души он чувствовал, даже знал наверняка, что и его предел где-то рядом. Ещё совсем недолго. И, тем не менее, он боялся перемен даже в мелочах. Перемены несли новое и далеко не лучшее новое. Слишком много изменений было в его жизни, чтобы он мог ещё доверять им. И только водка оставалась чем-то неизменным все эти годы, гася боль и давая временное забвение. С ней рука об руку шла и цель каждого дня – достать её хоть сколько-то, чтобы не вернуться в подвал пустым – цель всей оставшейся жизни, разбитая на отдельные равные участки.

Последней нитью, что связывала его с прошлым, была чёрно-белая армейская фотография, начавшая уже перетираться на сгибе. Он прикрепил её к стене над ящиком, покрытым засаленным куском картона, служившим столом. Специально ночью выбирался на улицу, ковлял до ближайшего киоска, в полутьме, негнуцимися пальцами на ощупь пытался найти выплюнутые кем-то жевательные резинки. И

потом долго, уже в подвале разжёвывал серые окаменевшие комки и, придав им гибкость, прилепил на них фотографию.

И всё это после того, как неожиданно проснулся в слезах от старых, давно забытых, казалось, снов, наполненных войной и болью, чувствуя, что уже почти потерял человеческий облик.

На фотографии их было пятеро. Вернулся только он. Четверо остались там, на Саланге. Четверо и его нога.

Сейчас он был никому не нужный калека. Всеми забытый. В тридцать один год...

Он всегда пил вместе с ними и рядом с ними. С каждым последующим стаканом его язык всё больше развязывался. Он плакал и ругался, в пьяном угаре обвиняя их в предательстве, в том, что не взяли с собой или в том, что из-за них он стал калекой. Но чаще клялся, что эта, именно эта и есть последняя бутылка и что проживёт жизнь за всех них, зарабатывает денег и поставит им памятник. Всем вместе. Таким, какими они были на фотографии – молодыми и здоровыми...

Пить запоями он начал ещё в госпитале, потом, после выписки, не имея денег, стал пропивать всё, что у него было. Нигде не работал и даже не пытался хоть как-то устроиться в жизни, убедившись после нескольких попыток в тщетности любых усилий.

Точки, когда он просто безвольно покатился по кривой, не было, хотя, даже не признаваясь себе, долго ещё краснел в одиночестве, вспоминая, как пропил две свои медали...

Он встречал многих таких же, как он сам. В рваной, провонявшей запахами помоек одежде они крутились возле рынков и вокзалов, воруя всякую мелочь или клянча деньги. Не раз он пил с ними, напиваясь до беспамятства, затеявая драки, часто просыпаясь в одиночестве с разбитым лицом и кровоподтёками на теле: не мог ужиться даже с теми бродягами, что окружали его. Иногда он завидовал им, наблюдая, как они ели – боясь проронить крошки, сжимали хлеб в потрескавшихся ладонях, словно это был последний кусок в их жизни. Он не ценил того, что имел, и никогда не думал о будущем, вкладывая все силы в тот момент, в котором находился, одновременно живя в прошлом, пока, наконец, не разучился делать даже этого. Просто молча смотрел на фотографию и пил, не закусывая.

Теперь дни были похожи один на другой. Когда-то каждый был наполнен до отказа ожиданием постепенных, безболезненных перемен к лучшему. И хотя где-то в глубине его тихий предательский голос шептал о том, что свою жизнь он уже проиграл, тормозя все попытки к действию сомнениями и ленью, он всё же верил в решающий перелом в будущем и возможность всё начать с начала. По-своему, это как-то держало на плаву, пока не проснувшись однажды утром, он не смог

вспомнить, какой сейчас месяц и даже время года: понял вдруг, что давно уже дни и ночи отличались только количеством света и тьмы.

Никто не считался с ним последние годы, но все, кто знал, боялись за непредсказуемый, психованный нрав, угрюмое молчание и ощущение постоянной угрозы, исходившее от него.

И сейчас не только мороз был причиной его безвылазной лёжки в подвале. До сих пор ныли отбитые ребра. Одно, наверное, было сломано – при каждом глубоком вдохе правое лёгкое пронизывала резкая боль...

Три дня назад, уже под вечер, он сидел в центре города с картонной коробкой для мелочи перед собой. Один из здоровых бритоголовых парней, проходя мимо, презрительно кинул, даже не глядя в его сторону: «Заебали эти козлы уже. Сидят по всему городу...» И он, слышавший такое не раз, равнодушный обычно ко всему, не выдержав, неожиданно для себя самого взорвался. То оскорбление было не просто словами. Оно полностью перечёркивало его жизнь и делало напрасными все смерти – последняя иллюзия, с которой он не мог и не хотел расстаться, последнее, благодаря чему он ещё жил и помнил о своих друзьях. Последнее, что было его реальностью и оставалось единственным убежищем. «Заткни свою пасть, урод!» «Чего?!» «Заткни свой ебальник, я сказал!»

Он всегда жил по своим придуманным правилам, не считаясь ни с силой, ни с авторитетом. Уже здесь – в его новом мире – его не раз пытались сломать, издеваясь и жестоко избивая. Но он никогда не прощал унижений, встречая обидчиков поодиночке и избивая вдвойне жестоко. Со временем его перестали трогать и, не видя попыток сближения, просто обходили стороной.

...Парень сделал сразу две ошибки – подошёл и оскорбил ещё раз. Что было сил, он ударил его костылём между ног и, когда тот упал, корчась от боли в паху, ударил второй раз, целясь в висок, но только рассёк бровь...

Они били его безостановочно минут пятнадцать, потом он потерял сознание, а когда очнулся, то ещё долго не мог пошевелиться, глядя на звёздное небо, такое же чистое, как в Афгане...

Не было ни бессильной ярости, ни бешенства. С тех пор как стал калекой, он никогда не выигрывал даже в мелочах, но каждый раз с тупым упрямством бросался в драку. Ни на что не надеясь, с отчаянием обречённого. Накопленное на войне требовало выхода, оставаясь в нём нерастраченной злостью на уровне эмоций и смутных ощущений.

Он редко возвращался в мыслях к Афгану. Только когда не мог ответить на оскорбление, как сейчас. То время было самым ярким островком памяти, спасительным утешением, за которое он всё яростнее цеплялся. Иногда, с испугом обнаруживая, что не может вспомнить деталей, сам дорисовывал и разукрашивал провалы в памяти.

Что он делал тогда? Была ли его нынешняя жизнь платой за те смерти и грехи Афгана? Сколько человек убил он там? Десять? Двадцать? Его ли были те пули, что поставили точки во многих жизнях? Те несколько семей, что они расстреляли, когда поблизости не было особистов, тот пацан, что кинулся на него с ножом, которого он застрелил в упор. Они никогда не снились ему, и он почти не вспоминал о них. Лишь иногда, чтобы убедиться, что война не была сном и в его жизни были не только эти стены, голод и водка. Он не жалел их. Он жалел себя и тех, что до сих пор улыбались ему с фотографии. Но больше он жалел себя и свою поломанную судьбу.

В такие моменты он острее, чем когда-либо, ощущал свою обречённость и одиночество. Закутываясь в одеяло, пытался поскорее заснуть, зная, что утро не будет казаться таким безнадежным, как вечер. Вся ненависть, ни к кому конкретно не обращённая, застревала в одной бесконечно повторяемой фразе – «ебал я вас всех в рот, уроды». Он не находил более грязных слов, чтобы выразить всё презрение к тому и тем, что окружали его. И так, пока не проваливался в глубокие, тяжёлые сны.

Он никогда не просил и ничего не давал в долг. Даже побирался молча – ставил перед собой картонную коробку и наблюдал, как та постепенно наполняется мелочью. Он ненавидел всех без исключения, особенно презирая жалость бросавших ему подачки.

Однажды он почувствовал в себе что-то новое, внутреннюю силу, возможность измениться. Не пил два дня, накапливал спокойствие, стараясь свыкнуться с мыслью о переменах. Потом ещё целый день сидел возле церкви, не решаясь войти. Но, в конце концов, пересилил себя и, уже под вечер, вошёл внутрь, удивляясь тишине и незнакомым, дурманящим запахам. Церковь была пуста, лишь откуда-то из дальних помещений доносились приглушённые голоса. Он подошёл к первой иконе и провёл рукой по гладкой, стеклянной поверхности, ощутив неожиданно новый прилив спокойствия. В этот момент из боковой двери вышли двое служек в рясах и, увидев его, замерли на месте. Затем почти насильно поволокли к выходу и, уже на улице, грубо посоветовали никогда не заходить в храм божий. «Штатается тут всякий сброд...» В этот же вечер он напился в одиночестве, ругая матом и бога и «всю церковную сволочь».

Позже ему не однажды пьяному случалось бывать там, но никогда больше он не заходил внутрь, издеваясь над набожными старухами, которые, крестясь и шепча молитвы, в испуге шарахались от него.

После госпиталя он остался в Москве. Возвращаться домой одноногим калекой было страшно. Была уже середина лета восемьдесят восьмого. По госпиталю упорно ползли слухи, что войска скоро выведут, некоторые части уже выходили из Афгана. От этого было вдвойне обидно. В конце войны, на случайной мине...

Была смутная надежда осесть в городе и устроиться, но с самого начала он пустил всё на авось, надеясь, что шанс сам найдет его. Спал на вокзалах и в городских парках, проедая и пропивая свои вещи и ту мелочь, что ещё оставалась.

Он отчётливо помнил тот день, когда в палату принесли их солдатскую зарплату, а некоторым деньги за ранение. Офицера из финансового отдела с нахальной улыбкой на лице. Помнил, как постоянно молчавший парень – если бы не врач, называвший всех по именам, никто бы не знал даже, как его зовут – тупо, непонимающе смотрел на несколько купюр, потом сжал их в кулаке и что есть силы ударил прямо по той ухмылке и ещё долго бил ногами свернувшегося на полу в комок, хрипящего от боли и страха капитана, пока парня, с остекленевшим взглядом, трясущегося в припадке бешенства, не оттащили до смерти перепуганные врачи и медсестры...

Спустя неделю он встретил старика бомжа. Именно старик привёл его в этот подвал, накормил и показал целый пласт жизни, о котором он знал только понаслышке. Подвал находился в новом высотном доме, и их не раз пытались прогнать оттуда, но они упорно возвращались назад. Постепенно даже участковый махнул на всё рукой, и со временем на них двоих просто перестали обращать внимание.

Старик умер через два года...

...Несколько дней он ходил по районным комитетам, заходил к участковому, но его прогоняли отовсюду, даже не выслушав. Тогда он похоронил старика в том же подвале. Рыхлил землю палкой и выгребал руками...

С того времени он начал пить каждый день, полностью разочаровавшись в людях, ненавидя государство и город, в котором жил. Пил в ущерб питанию, иногда вспоминая, что не ел почти ничего по нескольку дней. Старик был единственным родным человеком, но спустя годы он вспоминал о нём всё реже. Память надолго застряла в Афгане, пока, наконец, он не начал забывать и о нём... Медленно плыл от утреннего похмелья к вечернему, выползал на улицу, ждал, пока наполнится мелочью коробка, и тут же пропивал собранное.

Каждое пробуждение, вырывавшее из бесформенных снов, успокаивало определённой предстоящих часов. Он сразу тянулся к окуркам, подобранным накануне, выкуривал несколько штук и подолгу отхаркивал затем жёлтую, со сгустками крови слюну.

Хотелось ещё раз дожить до весны. Просто дожить, почувствовать запах апреля, горький вкус набухших на деревьях почек, увидеть мелкие резные листья... Даже умирать весной было не так обидно. Продержаться ещё пару месяцев, дожждаться настоящего обжигающего солнца, а там плевать... Что будет, то будет...

...Он высунул руку из-под одеяла, подтянул к себе бутылку и сделал несколько глотков. Водка даже не обожгла давно сожжённое алкоголем горло, но всё же в желудке потеплело. Он сделал ещё несколько глотков. По телу медленно стало разливаться тепло. Старые, полустёртые в памяти ощущения лета, палящего солнца, раскалённого песка и резкого очертания гор на фоне бесконечного неба...

Избавляясь от наваждения, он потряс головой и выполз из-под одеяла. Воздух с остервенением вырывался из простуженных лёгких и бледно-молочным паром поднимался к потолку.

Он опёрся на костыль, встал на ногу и обессилено откинулся на стену. «Ничего, ребята, бывало и похуже». Впервые за многие месяцы он улыбнулся им, весело скалившимся ему со стены. «Только бы дотянуть до весны...»